

ЛЕОНТИЙ НЕСТОРОВИЧ РЕВИЯ

Нет, он не был музыкантом, но был учителем математики и руководителем класса средней общеобразовательной школы в Томске в последние — предвоенные — годы моего учения в ней. Эстет. Рафинированный интеллигент. Меломан. Ценитель всего прекрасного. Русской и западноевропейской литературы. Изящной живописи. Классической музыки. Человек, излучающий в катастрофически уже тогда серевшей российской среде сияние благородства, такта и многозначительной сдержанности. Этого было достаточно, чтобы его личность навсегда запечатлелась в моем сознании, к формированию которого имел отношение и дорогой Леонтий Несторович.

Менгрел по национальности и выходец из знатного старинного рода горцев, коренной тбилисец и инженер по образованию, в сталинскую эпоху он оказался одним из великого множества миллионов неугодных власти интеллигентов. Слава Богу, что не был расстрелян где-нибудь в советских застенках, а был всего лишь сослан в угрюмый таежный Нарымский край, что на Север от Томска. Случилось это в середине 30-х годов прошлого столетия в разгар коммунистической охоты на людей, отличавшихся своими взглядами, воспитанием или возвышенным строем мыслей от забитых и серых «совков», готовых безоглядно лизать сапоги партийным бонзам во власти. Поистине неисповедимыми путями Леонтию Несторовичу удалось из Нарыма перебраться в Томск и там устроиться учителем в школе, где я и учился, тогда, кажется, в 8-м классе. Судьбе было угодно распорядиться, чтобы все последующие

годы моего учения — вплоть до окончания школы в 1940 году — Леонтий Несторович оставался моим учителем. А также образцом для подражания. Впрочем, как и для многих из нас — его учеников.

Уже первое появление Леонтия Несторовича в школе вызвало в учениках, если не оторопь, то, во всяком случае, завораживающий шок. Ни на кого из наших учителей — а среди них в то время было еще немало людей старого добропорядочного воспитания, он не был похож. Высокий и подтянутый, с элегантными манерами. в прекрасно сидящем на нем твидовом пиджаке и белоснежной сорочке с непременно шелковым галстуком, великолепно отутюженных брюках и почти до синева тщательно выбритым лицом и такой же бритой до лоска головой он казался нам инопланетянином, случайно занесенным на нашу Землю космическими ветрами. Принимаясь за работу, он имел обыкновение с непостижимой грацией вынимать из внутреннего кармана пиджака вечную ручку с золотым пером в перламутровом корпусе, переливавшемся всеми мыслимыми цветами радуги, и, прикоснувшись ею к бумаге, стремительно наносил на нее изящные письма легким, каллиграфически безупречным почерком. В такие мгновения мы — ученики, чье мастерство правописания было весьма далеким от совершенства — буквально замирали, глядя на своего учителя, воплощавшего, как нам казалось, пример идеального человека.

Необычной для нас была и сама атмосфера его уроков. Неторопливо войдя в класс, он легким кивком приветствовал всех учеников, отчего казалось, что его взгляд обращен на каждого из нас, здоровался и, усевшись за стол, по журналу зачитывал наши фамилии. Искренне сочувствуя тем отсутствующим, кто заболел и не смог прийти в школу, с добродушной иронией, не лишеной досады, укорял прогульщиков, ни на йоту не повышая голос и тем самым придавая совершенно особую значительность своим нелицеприятным репликам.

— Ну конечно, говорил он, — зачем имяреку приходить на занятия, ведь этот имярек профессор и учиться ему уже незачем.

Филиппика эта приобретала в устах Леонтия Несторовича особую разящую окраску, если он, обращаясь к ученику, называл его «кацо», что по-грузински означало «друг», «товарищ», но слово это, произнесенное на русском языке, принимало порой уничижительный оттенок. Так иногда нам казалось, но и делало нас лучше тоже — хотя бы потому, что обязывало к ответственности перед самим собой и учителем. Впрочем, Леонтий Несторович скорее всего и не подозревал обо всем этом, безотчетно следуя лексикону своего родного края, с которым вопреки своей воле был разлучен физически, но только не духовно. Его гонителям было невдомек, что их власть над людьми, подобными нашему учителю, имела крайне узкие пределы, за которыми скрывался огромный мир человеческих чувств, понятий, убеждений, недостижимый для насильников.

Непринужденность и свобода, с которыми Леонтий Несторович владел своим предметом (он преподавал математику), мягкое и ровное обращение с нами — его учениками, и в малой мере не исключаящее требовательное, взыскательное отношение к нашему поведению и успехам в учении, сама, наконец, атмосфера доброжелательности, которую он создавал в классе, действовали на нас подчас значительно сильнее, чем окрики или неприкрытый диктат, царившие порой на уроках по другим предметам. Магнетизм его личности на глазах у всех преображал каждого из нас и любой наш промах в поведении, учебных или даже личных делах вызывал чувство боли и застенчивого стыда перед тем, кто негласно и мало-помалу становился нашим кумиром и ориентиром нравственности.

Когда меня, мальчика, постигло несчастье и после смерти матери и гибели отца в коммунистическом концлагере на Колыме я остался как перст один, Леонтий Несторович проявил ко мне величайшую деликатность и не единым жестом,

словом или намеком не унижил меня — замкнутого и самолюбивого подростка — жалостью, которая уничтожила бы меня окончательно. Он никогда ни о чем меня не расспрашивал, не лез, как принято говорить, в душу, но всегда всем своим видом и манерой разговора выказывал живейшее участие и внимание ко мне. В ту пору я учился в музыкальной школе, позже — в училище и слыл в Томске, как я припоминаю, музыкантом достаточно преуспевающим, несмотря на юные годы. Нередко Леонтий Несторович, увидев меня на перемене между уроками или после них, осторожно брал меня под руку, ненавязчиво переводил разговор в обетованную страну музыки, а затем подводил меня к школьному роялю, если он был поблизости, и просил что-либо сыграть. Я играл, и он весь обращался в слух, стоя у инструмента и не сводя пристального взгляда с моих рук. Помню, что особый восторг вызывали у него Этюды Шопена, Одиннадцатая рапсодия Листа и знаменитые «Papillons» Шумана. Когда я, закончив играть, опускал крышку рояля и поднимался со стула, Леонтий Несторович не рассыпался в похвалах и дешевых комплиментах, как это делали другие, но, молча, с увлажненными глазами, жал мне руку, задерживая ее на какие-то лишние мгновения, который казались мне блаженными.

Невольно вспоминается торжественный вечер выпускников школы 1940 года, в числе которых был и я. После вручения аттестатов и полагающихся по этому поводу поздравлений всех уже бывших школьников пригласили к застолью. Никаких вин, шампанского, пива и различных спирто-водочных отрав, без которых не обходится ныне ни один выпускной бал, не было и в помине. Был чай, что-то из выпечки и, что особенно запомнилось, расставленные по столам глубокие тарелки, наполненные доверху изысканнейшим — как тогда считалось — белоснежным лакомством. Конечно, это было мороженое, по современным понятиям самое заурядное. Каждый из нас, выпускников, мог подойти к любому из столов

и наложить на свою тарелку вволю этого ледяного чуда, грозившего каждому незадачливому сластене ангиной.

На пиршестве присутствовал и Леонтий Несторович — нарядный, в отлично отглаженном костюме, улыбчивый и немногословный. Ни к мороженому, ни к еде или чаю он не притрагивался, но неспешно ходил по залу, что-то говорил короткое и приятное каждому из нас и всем своим видом выказывал верх учтивости и деликатности к присутствующим. Приблизившись ко мне, Леонтий Несторович поклонился и, как и всегда деликатно взяв меня под локоть, подвел меня к стоявшему неподалеку роялю. — Сыграйте нам что-нибудь, кацо — тихо и доверительно проронил он. Что именно я играл, не помню (быть может «Венский карнавал» Шумана, который тогда только что выучил), но в память навсегда врезалась окружившая рояль толпа выпускников и застывший среди них учитель, весь поглощенный звуками, доносившимися из золоченого чрева инструмента с откинутым черным крылом крышки...

Говорили, что у Леонтия Несторовича есть в Томске пассия, которая пригрела его и создала ему условия для нормальной, как сейчас принято говорить, жизни. В это верилось и не верилось и прежде всего потому, что в Тбилиси у него оставалась семья и была жива жена. Но если оно так и было, то тому находились человеческие объяснения. Сибирь предвоенных лет была голодным и малообустроенным краем (тем более для ссыльных) и выжить в одиночку было подчас невозможно. К тому же — и это было, пожалуй, главным — обаяние личности нашего учителя было настолько велико, что ему все можно было простить и даже поставить в заслугу. Впрочем, эта сторона жизни учителя нас, школьников, и не интересовала.

...Прошли годы и вскоре после окончания войны я оказался в Тбилиси. Ни на что не надеясь, я позвонил в справочное бюро телефонной службы и к великой радости узнал, что среди абонентов города числится и некто по фамилии Ревия Леонтий Несторович. Я тотчас набрал названный мне номер и услышал

в телефонной трубке до боли знакомый голос дорогого учителя. Это стало для меня после долгих лет разлуки настоящим потрясением и я уже через полчаса поднимался по лестнице многоквартирного дома, в котором жил Леонтий Несторович. С замиранием сердца прикоснулся к кнопке квартирного звонка. Дверь тотчас распахнулась и в ее проеме я увидел как и всегда приветливо улыбающегося пожилого человека, чуть согбенного и, как мне показалось, придавленного непосильной тяжестью пережитого. Во всем его облике лежала печать чего-то трагически безысходного и прозаически будничного одновременно. Это был он, мой учитель. — Дорогой кацо! Очень рад вас видеть, — воскликнул, обращаясь ко мне, Леонтий Несторович и заключил меня в свои объятия. Выяснилось, что все военные годы он провел в сибирской ссылке и после окончания Второй мировой в 1945-м вернулся в Тбилиси, к семье.

На следующий день я снова был приглашен в дом к Леонтию Несторовичу, на этот раз уже на семейное застолье по случаю приезда гостя. На праздник явились все родственники и близкие Леонтия Несторовича, близкие его близких и просто друзья. За стол, уставленный грузинскими блюдами и винами, уселись все мужчины, в том числе взрослые сыновья хозяйна дома. К столу была придвинута детская коляска, в которой мирно дремал, как мне показалось, пятилетний внук Леонтия Несторовича — тоже мужчина. Женщины сидели поодаль и в застолье участия не принимали, прислуживая по мере необходимости за столом. Произносились длинные и красочные тосты в адрес гостя и хозяев дома, вино пили понемногу, не спеша, захмелевших или потерявших над собой контроль, как порой в России, не могло быть по определению. Неожиданно малыш в коляске что-то залепетал. К нему подошел Леонтий Несторович и, наклонившись над его изголовьем, что-то долго и внимательно слушал. Когда внук замолчал, Леонтий Несторович поведал всем собравшимся о случившемся. Оказывается его внук, и не помышлявший о сне, хотел рассказать всем

старинный анекдот про мингрела, сидевшего за праздничным столом и у которого от вина все загорелось внутри. Когда огонь, опускаясь по пищеводу все ниже и ниже, достиг своей крайней точки, то не на шутку встревоженный герой поднялся из-за стола, чтобы посмотреть, не загорелся ли под ним стул.

Потом случилось чудо — кто-то из гостей поначалу еле слышно затянул древнее грузинское песнопение и певца тотчас поддержали все остальные мужчины, вплетая свои голоса в общий хоровой поток, удивительно слаженный, гармоничный и полифонически искусный, уносящий человеческие души в иные миры, где нет ничего кроме покоя, согласия и блаженства. Пройдут годы и я буду всегда слышать это удивительное пение людей, далеких от музыкального профессионализма, но от рождения — и даже задолго до него — погруженных в стихию тысячелетней культуры богатейшего мелоса Кавказа.

...Спустя несколько лет я вновь приехал в Тбилиси и, конечно, первым делом позвонил по уже известному мне телефону Леонтию Несторовичу. В трубке послышался женский голос, принадлежавший невестке моего учителя. — Леонтия Несторовича с нами уже нет, — еле слышно сообщила она. В моей душе что-то надломилось, яркие южные краски праздничного как всегда Тбилиси померкли, перед мысленным взором как вихрь пронеслись незабываемые дни и часы общения с дорогим учителем, оставившего в моем сознании мало с чем сравнимый след. Хотелось тотчас устремиться в его квартиру, где ее стены и предметы хранили ауру его личности, его дыхание, прикосновения его рук. Однако вместо посещения его дома я в полубезытии стал бесцельно, не отдавая себе в том отчета, бродить по улицам и на следующий день постарался покинуть город, находиться в котором без Леонтия Несторовича я уже не мог.

К прошлому дороги нет, и тот, кто пытается ее пройти, теряет все, в том числе и иллюзорную надежду на воскрешение былого. Минувшее не возвращается. Тем более что оно и без того всегда с нами. И в нас.